

Зиновий Сагалов

ТРИ ЖИЗНИ АЙСЕДОРЫ ДУНКАН

Монодрама в 2 действиях

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

На сцене маленький изящный столик, старинной работы кресло, рояль. Из тишины возникает музыка.

Вышла актриса в строгом вечернем платье, на плечи наброшен легкий красный шарф. Молча посмотрела в зал. И вдруг, сменяя музыку, раздался пронзительный визг тормозов, отчаянный сигнал клаксона, чей-то крик — и сразу же все стихло.

Голос по радио. Трагическая смерть Айседоры Дункан... 16 сентября 1927 года. Проезжая на автомобиле в Ницце, Айседора Дункан была выброшена из машины вследствие того, что конец ее шарфа зацепился за колесо. Дункан была поднята с переломом позвоночника. Смерть наступила немедленно...

1.

Тишина. Рокот морских волн, набегающих на берег.

— Я родилась у моря, — так начнет Актриса этот рассказ, — и заметила, что все крупные события моей жизни тоже происходили у моря. Мое первое понятие о движении, о танце несомненно вызвано ритмом волн.

Маленькой девочкой я часами блуждала по берегу, предаваясь собственной фантазии. Меня захватывала эта игра! Я воображала себя чайкой, парящей над бесконечной морской гладью. Или шаловливой волной, которая резвится среди своих подружек. Но чаще всего — парусом, одиноким парусом который рассекает белые гривы волн...

Целыми днями я была предоставлена самой себе, так как мама с утра и до позднего вечера ходила по квартирам, давая уроки музыки детям из богатых семей. Ее скудного заработка нам едва хватало на жизнь — ведь нас у нее было четверо: Элизабет, Раймонд, Остин и я — Айседора...

Из всех нас я была самой отважной. Когда в доме совершенно нечего было есть, я отправлялась к мяснику и хитростью убеждала его отпустить в долг бараньи котлеты. Обольщать булочника, чтобы он продлил нам кредит, посылали тоже только меня. И эти походы были куда интереснее, чем ежедневные хождения в школу.

— Айседора, не вертись! Айседора, сиди смирно! — до сих пор помню, как кричала на меня учительница.

«Хотела бы я посмотреть, — думала я, — как бы вы, уважаемая мисс, сидели за партой с пустым желудком и в промокших ботинках!»

Когда наступило Рождество, учительница, раздавая нам конфеты и пирожные, сказала:

«Поглядите, детки, что вам принес Санта Клаус». А я встала и торжественно, на весь класс, заявила: «Я вам не верю, никакого Санты Клауса нет! И все это враки, враки!»

Можете себе представить, как была возмущена моя мисс учительница!

— Ах, так! — завопила она. — Знай же, что Санта Клаус не подарит тебе ни одной конфетки!

— Подумаешь! Ну и не надо!

—Ты скверная девчонка, ты позор нашей школы! — закричала учительница. Она с яростью схватила меня за плечо и швырнула на пол. Но я все же устояла — ноги и тогда уже у меня были крепкие! Тогда она поставила меня в угол. А я, повернув голову через плечо, упрямо твердила: «Никакого Санта Клауса нет! НЕТ! НЕТ!» Тогда рассвирепевшая мисс учительница отправила меня домой за родителями.

2.

Родители... Моя мать разошлась с отцом, когда я была грудным ребенком.
— Тетя Августа, скажи, был ли у меня когда-нибудь отец?
Тетка пристально посмотрела на меня и презрительно отчеканила:
—Твой отец был дьяволом. Он разрушил жизнь твоей бедной матери.
Дьявол? Какой ужас! С рогами и хвостом!.. Когда дети в школе говорили о своих отцах, я всегда помалкивала.
Однажды — мне было тогда семь лет — я услышала звонок у входных дверей. Открыла...
Передо мной стоял приятный мужчина в высокой шляпе.
—Не здесь ли живет миссис Дункан?
—Здесь... Я ее дочь.
—Вот ты какая, принцесса Мартышка! — воскликнул незнакомец и, подняв меня на руки, покрыл мое лицо слезами и поцелуями.
—Погодите, кто вы?! Кто вы? — отбивалась я, ничего не понимая.
—Я твой отец, — сказал он тихо.
—Ура!
Я бросилась в комнаты, чтобы сообщить всем: эту радостную весть:
—Мама! Отец приехал!.. Где же ты, мама? Ты заперлась? Зачем? Открой! Папа пришел! Раймонд, Элизабет! Куда вы все попрятались? Он совсем-совсем не страшный...

Но никто не вышел. Тогда я снова подошла к двери и вежливо сказала:
—Извините, все у нас заболели и, понимаете, не могут выйти.
—А ты — здорова?
—Я?.. Да..
Он взял меня за руку и сказал:
—Тогда погуляем вдвоем. Окей?
Я бежала рысцой рядом с ним, радуясь, что этот красивый статный мужчина — мой папа. И что ни рогов, ни хвоста у него нет.
В кондитерской он угостил меня мороженым и цукатами и на прощание сказал: «Я приду завтра, принцесса Мартышка!» Но это завтра так и не наступило: семья больше не разрешила мне встретиться с ним.
—Мамочка, ну позволь, хоть один разочек! Мама!.. Ах, так! Пусть будет по-вашему!
Я выкрала из шкапулки брачное свидетельство моих родителей и сожгла его в пламени свечи...

3.

Вальс Шопена.

—Это играет мама... Вечер. Она только пришла лосле уроков. Кое-как накормила нас, села за старенькое пианино, мы — вокруг. И забыто уже все, кроме волшебных, завораживающих звуков. И сердце взлетает ввысь — туда, где птицы и облака, и слушать эту музыку, просто сидеть и слушать — нельзя. Ее надо танцевать.
Одна старая дама, увидев наши домашние танцы, посоветовала маме показать меня известному в Сан-Франциско преподавателю...

Резкий обрыв музыки.

—Станьте на пальцы ног, — сказал он мне.

—Зачем?

—Это красиво, это возвышенно. Если вы не чувствуете это, вам никогда не стать танцовщицей... Итак, первая позиция. Готовы? Плие—и, раз!

—Это безобразно, это противно природе! — воскликнула я и после третьего урока покинула танцкласс навсегда. Я еще не знала, каким должен быть мой танец, но только он не будет похож на эти гимнастические упражнения: и — раз, два, три! Ни за что!

В десять лет я рассталась со школой. Зато как набросилась на книги! Прочитала все, что было в публичной библиотеке: Диккенс, Теккерея, Шекспир... А кроме того — тысячи романов, хороших и скверных, вдохновенных книг и бульварных пустышек.

Я поглощала все. Читала ночами, до рассвета, при свете свечных огарков, собранных в течение дня. Я даже принялась писать роман, издавала свою собственную газету и вела дневник на секретном языке (я его сама придумала) — ведь у меня появилась великая тайна: я была влюблена...

4

. Ах, как он был красив! Какое романтическое имя — Вернон! Мне было тогда одиннадцать лет, но я зачесывала волосы наверх, носила длинные платья и выглядела намного старше. Иногда я приходила в аптекарский склад, где работал Вернон, и, не зная, что сказать, спрашивала как дурочка: «Как вы поживаете, мистер Вернон?» (*Смеется*). Вечерами я подолгу бродила перед освещенными окнами его дома. Так продолжалось года два, и я считала, что страдаю от безумной любви! Однажды Вернон сказал мне, что собирается жениться. Земля качнулась под моими ногами.

—Кто она?

—О, настоящая леди, девушка из высшего общества, — с гордостью произнес он.

А спустя несколько дней я увидела их обоих — Вернона и его невесту. Уродина, каких свет не видывал! Они выходили из церкви, вокруг было море цветов. А я стояла за церковной оградой и ревела. Так окончилась моя первая любовь...

Когда через много-много лет, после одного из концертов, в мою гримуборную вошел седой мужчина, я сразу же узнала его. Это был Вернон! Я решила позабавить его и рассказала о своей безумной любви. Боже, как он перепугался, как красноречиво стал уверять, что до сих пор любит свою супругу... Я едва сдерживала себя, чтобы не расхохотаться. Не над ним, нет! — над той глупой козой, которая со слезами на глазах глядела на ярко освещенные окна его дома!..

5.

Счастье, где ты? Моя птица, моя фортуна, я готова бежать за тобой — только позови! Падать, подниматься, карабкаться на скалы — лишь ради этого я хочу жить и дышать...

— Мамуля, родненькая, уедем из Сан-Франциско! Поверь в меня, мама. Я хочу, я буду танцевать! Ты еще будешь гордиться своей Айседорой! Все-все зависит от тебя, от твоего ответа. Уедем? Да? Сегодня, сейчас же, сию минуту!

Ветер странствий сорвал два листочка, закружил их, понес в неведомую даль...

Чикаго. У нас двадцать пять долларов и обручальное кольцо моей бабушки. Надев короткую греческую тунику, я танцую перед владельцами всех театральных заведений города.

—Очень, очень красиво,— говорят они. — Но эти танцы не для нашей публики.

Неделя течет за неделей, драгоценности бабушки съедены, денег нет. За последние тряпки мы купили банку томатов и кормились этим целую неделю. Мама настолько ослабела, что уже не могла вставать. В отчаянии я пришла к менеджеру увеселительного заведения

«Мэйсоник Темпл». С толстенной сигарой во рту, в шляпе, надвинутой на один глаз, он мрачно взирал на маленькую девочку, которая танцевала под звуки «Песни без слов» Мендельсона.

Музыка смолкла. Он несколько минут молча глядел на меня. Потом процедил сквозь зубы: —Танцевала бы ты что-нибудь веселенькое, с перцем, я бы, так и быть, рискнул.

—Как это — с перцем?

Он захлебнулся хохотом.

—Ну что-нибудь эдакое, с юбками, разрезами и прыжками. Поняла? То, что нравится публике.

Я возмутилась. Но тут же вспомнила маму, безжизненно лежащую на кровати, остатки томатов в консервной банке, неоплаченный счет за гостиницу...

—Хорошо! Я согласна! Будут вам разрезы и прыжки! И «перец» тоже будет!

Всю ночь мама из последних сил шила мне безобразно вульгарный костюм. Последнюю оборку она пришивала уже утром.

Когда я пришла к толстяку-менеджеру, оркестр уже был наготове. Музыканты лихо заиграли какой-то пошленький танчик, нечто вроде этого... (*Напевает*). Какая мразь! Но отступить некуда! Какой-то бес вселился в меня. Я дергалась и кривлялась, а все мое тело кричало: «Вот тебе перец! Вот тебе разрезы! Вот тебе прыжки с юбками! Ты этого хотел, толстый боров? На, получай! Теперь ты доволен, скотина?»

Выронив сигару изо рта, директор протягивал ко мне свои толстые волосатые ручки:

—О'кей, моя крошка! Великолепно! Пятьдесят баксов в неделю! Можешь начинать хоть завтра!

Успех был бешеный. Директор предложил мне контракт на целый год. Но я... я отказалась.

Он был ошарашен. «Гуд бай, господин директор, малышка Айседора проживет без вашего «перца». И вообще в вашем кабаке слишком грязно и шумно, и птица счастья никогда сюда не залетит...

6.

На центральных улицах Чикаго висели огромные транспаранты: «Всемирно известная труппа Огюстина Дэйли». Вот кто может меня понять! Несколько дней я безуспешно пыталась проникнуть в театр, но мне неизменно отвечали, что мистер Дэйли занят и принять меня не может. Наконец, как-то вечером, я столкнулась с ним у театрального подъезда лицом к лицу.

—Маэстро, умоляю вас, выслушайте меня. Вы величайший артист, но вашему искусству не хватает античного танца. Я принесу его вам. Он — во мне. Этот танец родился у Тихого океана, в горах Сьерра-Невады, в поэмах Уитмена. В этом танце будет жить вечная душа природы...

Огюстин Дэйли не вполне понимал, что ему делать с этой странной худющей девчонкой, которая несла какую-то несусветную чушь. Но что-то во мне, видимо, его привлекло.

—Ладно, — сказал он, — у меня имеется небольшая роль в пантомиме, которую я буду ставить в Нью-Йорке. Пока ничего не обещаю, но если подойдете, получите ангажемент.

—Как ваше имя?

—Айседора.

—Красивое имя... Итак, Айседора, до встречи в Нью-Йорке.

Первая репетиция... Она принесла мне ужасное разочарование. Примадонна труппы, звезда пантомимы Джейн Мэй отличалась крайне бурным темпераментом. Она пользовалась любым предлогом, чтобы завестись и устроить бучу. Когда мне сказали, что при слове «вы» я должна указать на нее, при слове «любите» прижать свои руки к сердцу, вот так, а затем яростно бить себя по груди при слове «меня», все это показалось мне слишком смешным. Я проделала это так скверно, как только могла. (*Показывает*). И не удивительно, что Джейн Мэй нашла меня отвратительной.

—У этой девицы нет никакого таланта, мистер Дэйли, — сказала она. — Немедленно снимите ее с роли.

Я разревелась. Маэстро похлопал меня по плечу и сказал: «Вы видите, Джейн, она очень выразительно плачет. Артистические данные у нее есть, не будьте суровы с этой малюткой...»

Но репетиции были для меня мукой. В одной сцене я должна была объясниться в любви к Пьеро, роль которого исполняла все та же Джейн Мэй. Звучала музыка, я приближалась к Пьеро и целовала его в щеку три раза. На генералке я провела этот эпизод с таким пылом, что на белой щеке Пьеро остался отпечаток губной помады. Тут Пьеро превратился в Джейн Мэй и отвесил мне звонкую оплеуху. Восхитительное вступление в театральную жизнь, не так ли? (Смеется).

В спектакле «Сон в летнюю ночь» в одном из эпизодов я оставалась на сцене одна.

Фрагмент «Песни без слов» Мендельсона.

Как я ждала этого момента! На премьере я танцевала так самозабвенно, что раздался шквал аплодисментов. Меня не отпускали со сцены, театр бушевал. Когда же наконец я выскочила в кулисы в своей белой тунике с крылышками феи, сияя от счастья и первого успеха, маэстро... Он учинил мне такой разнос, кричал, топал ногами:

—Здесь вам не мюзик-холл! Это танец в драматическом спектакле, а не ваш концертный номер! Вам только бы сорвать аплодисменты, а на остальное наплевать!

Назавтра в этой же сцене прожектора горели вполнакала. Я танцевала во мраке и ничего, кроме порхающей в глубине сцены белой фигурки, зритель разобрать не мог.

Так прошел год... Я чувствовала себя бедной Золушкой. Мои мечты, надежды — все, все погибло. В труппе меня считали невезучкой. Ни друзей, ни подруг у меня не было. Во время перерыва я не завтракала со всеми — мой кошелек, как всегда, был пуст — а пряталась в какой-нибудь ложе и тут же засыпала от истощения.

—Мистер Дэйли, — сказала я однажды, — зачем вы меня держите? То, что я умею и хочу делать, вам не нужно. Вы мне платите хорошие деньги, но ведь они не приносят радости.

—Чудачка, — сказал он, пожав плечами.

В тот же вечер я покинула труппу.

И почему я такая невезучая? Вечно на распутье, без денег, без работы... Быть может, птица счастья — лишь призрачная тень, бегущая впереди человека?

«Надо уехать, Айседора, — сказала я себе. — В этой стране людей интересуют акции и дивиденды, а не твои античные танцы». Решение покинуть Америку крепло с каждым днем.

И вот на скотопромышленном судне — так было намного дешевле! — под рев и стенания нескольких сотен несчастных животных семейство Дункан пересекло Атлантику и очутилось в Европе.

7.

Я закрываю глаза и вижу четырех отчаянных смельчаков, которые шагают по лондонским улицам — без денег, без друзей, без убежища на ночь.

Грин-парк, садовая скамейка... Но едва мы расположились на ночлег, как появился огромный полисмен и велел нам немедленно убраться. Двери гостиниц были для нас закрыты, так как вещей у нас не было, а наш вид не внушал никакого доверия. На четвертые сутки я решилась на отчаянный шаг.

—Послушай, мама, и ты, Элизабет, и ты, Раймонд... Следуйте за мной и что бы я ни делала, молчите.

Я привела их в одну из лучших лондонских гостиниц, подошла к ночному портю и сказала властным тоном светской дамы:

—Мы только что приехали ночным поездом... из этого... из Ливерпуля. Будьте любезны, дайте нам номер получше и распорядитесь, чтобы подали ужин, да поживее! Когда придет наш багаж, немедленно позвоните в номер. Вы поняли?

Весь день мы проспали в роскошных постелях, а на рассвете следующего дня тайком, не заплатив ни пенса, смотались из отеля. (*Хохочет*). О. это была одна из самых шикарных авантюр моей юности!..

Хмурый туманный Лондон ненадолго задержал нас. Сестра Элизабет вскоре вернулась в Америку, Раймонд уехал на поиски счастья в Париж. Я от случая к случаю выступала в артистических кафе.

На одном из вечеров танца я увидела Эллен Терри. Дивную, несравненную Эллен Терри, великую актрису Англии. Казалось, именно для нее создавал Шекспир своих любимых героинь — Дездемону и Офелию, Порцию и Беатриче. Мы долго беседовали с ней, глядя на мерцающие огни камина, и никто из нас не мог тогда предположить, что через несколько лет ее сын Гордон Крэг станет моим мужем.

Крэг... Мы познакомились с ним в Берлине. Я была тогда уже на вершине славы. Мои танцы вызвали в Париже невероятную сенсацию. Вена! Будапешт! Ах, какие это были времена! Впервые я танцевала не для избранных, а в переполненных залах. В Венгрии мое имя сделалось магическим. Однажды в Будапеште мы обедали в небольшом ресторанчике, столик стоял возле окна, выходявшего на шумную улицу. Внезапно я увидела, как за стеклом стали останавливаться прохожие. Их становилось все больше и больше. Они улыбались мне, махали руками. И вдруг... огромное стекло вместе с рамой рухнуло, и торжествующая толпа ввалилась прямо в зал! Ни владелец ресторана, ни мой импресарио не могли защитить меня от этих безумцев. Они не отпускали меня до тех пор, пока я каждому не подарила лоскуток своего шарфа.

После триумфа в Будапеште был Берлин, концерт в Оперном театре, где я впервые увидела Крэга... Приглашение в Берлин я получила еще в Париже. Однажды, как обычно, я занималась в своей студии, импровизируя античные танцы. И не заметила, как в студию вошел румяный улыбающийся господин в меховой шубе с бриллиантовым перстнем на пальце.

—Гутен таг, гнедиге фрау, — сказал он, — я к вам из Берлина. Мы слышали о ваших замечательных танцах босиком... (Как вам нравится это определение моего искусства!). Я представитель самого крупного мюзик-холла и приехал, чтобы предложить вам ангажемент.

—О, благодарю вас, но мои танцы не для мюзик-холла.

Вы получите много денег, фрау Дункан. Хотите пятьсот марок за вечер? Дадим шикарную рекламу: «Ди ерсте барфусс танцерин — первая босая танцовщица в мире!» Колоссаль, колоссаль! Дас ист зо айн эрфольг! Вас ждет невиданный успех!

—Чтобы я выступала вместе с акробатами и дрессированными собачками? Вы предлагаете это мне? Мне?

—Тысяча марок! — воскликнул он.

— Уходите... Вы... никогда... никогда не поймете, почему артист, даже без гроша за душой, отказывается от тысячи марок за вечер. Я буду танцевать в Берлине! Буду! Но не с вашими собачками, а в театре, который достоин соотечественников Гете и Вагнера! Ауфвидерзеен! Мое пророчество сбылось. Три года спустя этот же импресарио принес мне цветы в Оперный театр, где для меня играл оркестр Берлинской филармонии. О, это было незабываемое... Зрители пришли в экстаз. Меня не отпускали со сцены, полиция не могла заставить публику разойтись. Несколько десятков молодых людей взобрались на рампу... Я танцевала до полного изнеможения. А после спектакля студенты выпрягли лошадей из моей кареты и с факелами повезли меня по ночным улицам Берлина.

В Берлине, на одном из концертов, я обратила внимание на мужчину, сидящего в первом ряду. Обычно я не смотрю на зрителей, я их просто не вижу. Но в тот вечер я чуть ли не физически чувствовала присутствие этого человека. Едва окончился спектакль, он вошел в мою уборную — огромный, с длинными светлыми волосами. Молодой бог с сияющим вдохновенным лицом... С порога обрушился на меня:

— Вы... вы украли мои идеи! Как попали к вам мои декорации?

—Какие декорации? — Я ничего не понимала.—Это мои собственные голубые занавески. Я придумала их, когда мне было пять лет, и с тех пор всегда танцую перед ними.

—Черт возьми, но мои декорации точно такие же! И самое главное, что именно вас, Айседора, я представлял себе в моих декорациях!

—Простите, но все же... кто вы такой? Он помолчал, а потом сказал:

—Я Гордон Крэг.

Боже мой, сын Эллен Терри! Великой актрисы Англии! Лицо Крэга напоминало благородные черты его матери. В нем было нечто женственное, особенно в линии губ, чувственных и тонких. Глаза, сверкающие за стеклами очков, пронизывали меня насквозь.

Словно под гипнозом, я позволила ему набросить плащ поверх моей белой туники. Он схватил меня за руку, мы сбежали по лестнице на улицу, схватили такси и помчались к нему в студию, на Зигмундсхофф, 11. Он открыл дверь, я вошла в огромную комнату с черным навощенным полом, усыпанным лепестками роз. Все остальное было похоже на сон — дивный, нескончаемый, упоительный сон...

В его студии было пусто. Ни дивана, ни кресла. В течение двух недель мы спали на полу, устроив себе ложе из нескольких пледов и моей шубы. Денег у Крэга, естественно, тоже не было. Обед нам изредка приносили в кредит из соседнего бара. С утра до позднего вечера мы без умолку говорили. О театре, о будущем искусства. Спорили до иступления, ссорились навсегда и тут же мирились.

—Послушай, Крэг, ты можешь говорить о чем-нибудь, кроме театра? У тебя есть какое-нибудь хобби?

—А как же! Охота!

—Вот как? Значит, ты охотник? Расскажи о своих трофеях, это любопытно.

—А у меня их нет, дорогая. Тот зверь, за которым я охочусь, не заяц и не лисица. Стреляю, а пули, понимаешь, так и отскакивают от его толстой шкуры.

Он часто любил говорить загадками.

—Как бы тебе объяснить, Айседора... Видишь ли, я охочусь за сказочным чудовищем.

—За химерой?

—Нет.

—За гидрой?

Не угадала. А впрочем, это химера и гидра в одном существе, имя которому «театральщина». Ненавижу на сцене фальшь! Якобы самое натуральное небо, якобы самые подлинные деревья, на которых колышутся якобы самые настоящие листочки! Чушь собачья! Липа! Бутафория, сработанная в столярной мастерской и раскрашенная театральными мазилками. Целлулоид, папье-маше, проволока, цветная бумага и прочая дребедень, а не живые создания природы. Это тот зверь, которого я в конце концов загоню в капкан — ему не место в современном театре! Ширмы, конструкции могут создать все, что нужно для сцены — углы, улицы, ниши, скалы, башни. Зрителю надо только намекнуть, остальное он поймет и домыслит сам. Мои ширмы...

—Но, дорогой, это мои ширмы! — не сдавалась я, но это вызывало в нем такую вспышку гнева, что я тут же уступала: «Твои, твои ширмы...»

За этим следовали объятия и поцелуи, и в студии вновь воцарялся мир.

Несколько раз я пыталась позвонить маме, но Крэг не выпускал меня на улицу.

—Как тебе не стыдно! Великая артистка, а живешь по законам мещанской морали. Нелепо, дико! Ты принадлежишь мне и моим декорациям!

Только потом я узнала, что моя бедная мама обошла все полицейские участки Берлина, обзвонила все морги и больницы в поисках своей пропавшей дочери. Мой импресарио был вне себя — концерты пришлось отменить, публика разрывала театр. Наконец, в газетах было помещено объявление, что мисс Дункан серьезно заболела... воспалением миндалевидных желез! (*Хохочет*).

Через две недели я возвратилась домой. Увидев в дверях Крэга, мама набросилась на него: —Подлый соблазнитель, убирайтесь вон!

На столе, в моей комнате, лежал контракт на турне по России.

—Ты не уедешь! — властно сказал Крэг.

—Это приказ?

—Да. Ты мне нужна здесь.

Я схватила ручку и поставила размашистую подпись.

9.

Гудок паровоза, стук вагонных колес.

— Любимый, с каждой минутой я все дальше и дальше от тебя. Слышишь, стучат колеса: «Как я люблю тебя — как я люблю тебя — как я люблю тебя! До скорой встречи! До моего возвращения к сердцу, в котором я родилась!»

Поезд вез меня в далекую загадочную страну. Из окна я видела бесконечные снежные равнины, безмолвные сказочные леса, одинокие покосившиеся избы... Из-за снежных заносов поезд прибыл в Петербург с опозданием. Русские кучера в толстых тулупах хлопали себя по плечам, чтобы согреться. Был пасмурный рассвет, мы ехали по пустынным улицам. Вдруг возница остановился. Я увидела вдали нескончаемую процессию. Мрачную и горестную...

В тишине возникает песня «Вы жертвою пали...»

Люди несли в руках какие-то длинные черные ящики. Кучер снял шапку и перекрестился. Тут только я поняла, что это... гробы. Один... два... девять... восемнадцать...

Оказалось, хоронили рабочих, расстрелянных накануне перед Зимним дворцом в роковой день 9 января 1905 года. Они пришли просить у царя хлеба для своих жен и детей. Их встретили свинцом...

Я почувствовала слезы на щеках и закрыла лицо муфтой. Нет, никогда, никогда не забуду я этот сумрачный петербургский рассвет, вереницу черных гробов среди снежных сугробов. Нет, искусство бесполезно, если оно не может помочь угнетенным. Я должна сказать рабу: «Встань с колен, разбей оковы, ты — человек!»

И на следующий день, танцуя перед сливками петербургского общества, перед расшитыми золотом мундирами и ослепительными декольте, я высказала им в танце все, что испытала на рассвете минувшего дня.

Через неделю, простившись с Петербургом, я уже была в Москве. На всех моих концертах неизменно присутствовал Станиславский, руководитель прославленного Художественного театра.

—У кого вы учились вашим танцам, госпожа Дункан? — спросил он меня однажды.

Я улыбнулась:

—У Терпсихоры. Я танцую с того момента, как научилась стоять на ногах. Человек, все люди, весь свет должны танцевать, это всегда было и будет так... (*Берет со стола книгу, раскрывает ее*). Он писал обо мне: «Дункан не умела говорить о своем искусстве последовательно, логично, систематично...» (*Отрывается от книги, в зал*). Я не теоретик, дорогой господин Станиславский. Разве сороконожка знает, как, в какой последовате-

льности ей нужно ставить каждую из своих ножек?.. Прежде чем идти на сцену, я должна положить себе в душу какой-то мотор. Он начинает работать где-то там, внутри, независимо от меня, и тогда сами ноги, и руки, и тело, помимо моей воли приходят в движение. (Снова читает). «В то время я как раз искал этот творческий мотор, который должен уметь класть в свою душу актер перед тем, как выйти на сцену. Понятно, что я наблюдал за Дункан во время спектаклей, репетиций, исканий, когда она от зарождающегося чувства сначала менялась в лице, а потом со сверкающими глазами переходила к выявлению того, что вскрылось в ее душе...» (*Откладывает книгу*).

Однажды я рассказала Станиславскому о Крэге, показала его книгу, только что изданную в Лондоне — «Искусство театра». «Очень, очень интересно, — сказал он мне. — Напишите мистери Крэгу, что я приглашаю его поставить в Художественном театре любую пьесу по его выбору».

Еще до получения ответа я знала, что предложит Крэг. Гамлет! Конечно, Гамлет! Как часто говорил он мне, что чувствует в принце датском родную кровь. «Я ведь тоже рано потерял отца, мать вышла за другого. А призрак отца, видения посещают меня чуть ли не каждую ночь».

Я угадала: Крэг предложил «Гамлета». Станиславский согласился. Но прошло несколько лет, прежде чем Крэг приехал в Москву. Уже после того, как мы с ним расстались...

Почему, как это случилось? Ведь мы так любили друг друга...

В России я считала минуты, оставшиеся до нашей встречи.

—Крэг, письмо от тебя — это твое прикосновение, и оно придает мне крепости. Оно пришло с утренними газетами, вот они, на столе, мне только что перевели заголовки... «Тело Дункан словно околдовано музыкой. Она танцует в каком-то вакхическом экстазе». «Ее босые ноги явились сенсацией вечера...» И прочее, и прочее. А мне хочется только одного: убежать прочь от публики и броситься тебе на шею!

Харьков, Киев, Одесса, Варшава! Боже, есть ли конец у этой необъятной страны?!

—Любимый, я получила твою телеграмму перед самым выходом на сцену и от этого словно воспарила. Ты заставил мою душу взлететь, ибо я вся состою из твоей любви и твоих мыслей, и больше ни из чего.

Тридцатое декабря.

—Дорогой, этот ужасный старый поезд опаздывает, опаздывает, опаздывает на целых три часа, три столетия, три вечности — мы приедем около десяти, и моя секретарша, и моя служанка будут тянуть меня домой, но я сбегу от них, как только смогу, и примчусь в дом номер одиннадцать. Дорогой, я возвращаюсь назад, назад из страны снега и льда — у меня такое чувство, будто я покорила Северный полюс. Жди меня, о дорогой, я почти сошла с ума!

Ни одного дня, ни единой секунды мы не могли жить друг без друга. «Милая, несравненная Топси...» — писал он мне. Топси! Это имя Крэг придумал в честь Терпсихоры, музы танца.

—Милая Топси, я живу только благодаря тебе. От тебя исходит вдохновение силой тысяча вольт в секунду.

—Крэг, любимый, ты открыл мне высший смысл красоты. Без тебя я все равно что земля без солнца.

—Ты чудо, Топси! И твой вздернутый носик, и маленький твердый подбородок, и мечтательное ирландское сердце, и небо Калифорнии в твоих глазах — все чудо! В твоём танце я вижу всех женщин мира. И красоту, и покой, и силу, и нежность.

—Крэг, дорогой и далекий! Ты — вино и поэзия жизни. Без тебя холодно и тускло. Ты заставил красоту засверкать для меня. Твоя, вечно твоя Топси. (*Несколько секунд молчит, погруженная в размышления*). Да, я любила Крэга. Но всякий раз, когда он говорил: «Моя работа! Моя работа!», я осторожно возражала: «О да, милый, твоя работа превыше всего. Ты — гений! Но ведь существует и мое искусство!»

—Дорогой, я хочу соблазнить тебя солнечной идеей. Давай встретимся в Каире — мне смертельно хочется повидать пирамиды.

—Пи-ра-ми-ды?! О великий Боже, из чего только сделана твоя головка! Неужели я брошу свою работу и последую за тобой, чтобы зевая шляться в этом загробном царстве? А вслед за этим ты позовешь меня в Стокгольм, а потом в Мюнхен, а оттуда в Мадрид... Ведь маленькой Айседоре не сидится, она вечно куда-то мчится...

«Моя работа!» — это звучало как приговор, не подлежащий никакому обжалованию. Наши споры часто заканчивались грозным и тягостным молчанием. Затем во мне пробуждалась встревоженная женщина:

—Дорогой, я обидела тебя?

—Я не обижаюсь на женщин: они все несносны. А ты, дорогая, часто просто невыносима.

—Я? Крэг, я невыносима?

—Помолчи. В данный момент ты просто мешаешь мне думать.

Он уходил, хлопнув дверью. Всю ночь я проводила в рыданиях, мечтая, чтобы он вернулся. Эти сцены стали повторяться все чаще и чаще и вскоре привели к тому, что наша жизнь стала совершенно невозможной.

—Почему бы тебе не бросить театр? — сказал он однажды. — Вместо того, чтобы размахивать руками на сцене, ты бы лучше сидела дома и точила мне карандаши.

—Ты... ты в своем уме? Это я размахиваю руками? Я?

—Да, ты!.. Аэроплан вызывает у меня больший восторг, чем танцовщица, которая прыжками стремится подражать птице. Актер вообще не нужен современному театру. Я заменяю живого человека маской, марионеткой, мне не нужны эмоции и переживания — я хочу воплотить на сцене философию духа.

—Замолчи, Крэг! Я не желаю больше тебя слушать!

Изо дня в день продолжалась эта нескончаемая битва между гением Крэга и моим искусством... Но вскоре кроме нас двоих в ней стало участвовать еще одно существо.

—Я хочу, чтобы ты знал, Крэг, что среди сотен раз, когда ты меня целовал, есть один, когда ты подарил мне ребенка. Да, да, он во мне, любимый, и я не могу сдержать своего счастья, иногда у меня очень острые приступы счастья, как сейчас... Давай напишем нашему будущему малышу, что мы думаем о нем.

Я взяла лист бумаги и написала: «Дорогой малыш, если ты появишься, то знай, что ты был очень желанный». Пиши теперь ты, Крэг.

Он на секунду задумался и дописал: «И ты, малыш, узнаешь, что и твоя мать была желанна. Была, есть и будет желанна до самого конца!»

Слова, слова... 24 сентября 1906 года, после двух дней и ночей мучений, я родила синеглазое существо — точную миниатюру с Эллен Терри, матери Крэга. Как я гордилась своей новой ролью! О женщины, думала я, зачем мы так стараемся стать адвокатами, художниками, скульпторами, продавщицами, учительницами, когда существует, такое чудо? Я чувствовала, что я Бог, Создатель, что я сотворила то, что неподвластно никаким художникам — ребенка! Но ни голубые глазенки Дидры, ни ее золотые кудряшки не укрепили наш союз. Я по-прежнему обожала Крэга, но ясно понимала, что разлука с ним неизбежна.

Жить с Крэгом — означало отречься от своего искусства, от себя, от самой жизни. А без него? Я представляла его в объятиях другой женщины, видела его нежную улыбку, предназначенную не мне, слышала его голос, обращенный к новой поклоннице: «Вы знаете, эта Айседора была просто невыносима!» Я мучилась, рыдала, грызла свое сердце. Я не могла работать, не могла танцевать. Нет, нет, нет! Надо положить конец этому безумию! Я не Топси! Я Айседора Дункан! Я не могу отказаться от танца! Я умру с горя, я перестану существовать! И я нашла в себе силы, чтобы отречься от любви...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Я осталась одна, но со мной была златокудрая Дидра и второе дитя — моя школа. Еще с юности я была одержима идеей создать школу свободного танца. По ночам, стоило лишь закрыть глаза, я видела перед собой девочек и мальчиков в белых туниках, танцующих под звуки Девятой симфонии Бетховена.

Конечно, открытие школы без необходимого капитала, без тщательного отбора учеников — затея нелепая и опрометчивая. Но разве я тогда задумывалась над этим? Были деньги, мечта юности казалась такой близкой...

Мы сняли виллу, купили сорок кроваток, поставили фигуру амазонки в центральном зале, а танцкласс украсили барельефами пляшущих детей... Я так жаждала поскорее заполнить эти сорок кроваток, что брала ребят без разбора — просто, как говорится, за красивые глаза. И вот уже через несколько месяцев мальчики и девочки — мои дети! — танцевали на зеленой лужайке перед моим домом. Зрелище это было поистине волшебным!

Но неоплаченные счета за школу росли с каждым днем. Кредиторы осаждали меня, счет в банке был пуст. Я стояла на пороге полного финансового краха. Однажды я шутя сказала своей сестре Элизабет: «Нам нужен миллионер. Мы должны во что бы то ни стало разыскать его». Он явился сам. Все дальнейшее произошло как в сказке. Но в сказке с печальным концом...

Как-то утром, перед дневным спектаклем, я сидела в своей гримуборной в парижском театре «Лирик де ля Гатэ». Мои волосы были завернуты в папильотки и прикрыты кружевным чепчиком. Вошла горничная и положила передо мной визитную карточку: «Парис Зингер». Семейство Зингеров, фабрикантов швейных машин, было известно всему миру. «Вот мой миллионер! — вскричала я. — Впустите его!».

Он вошел — высокий, белокурый, с вьющимися волосами и красивой светлой бородкой.

Таким я представляла себе вагнеровского Лоэнгрин, рыцаря и защитника женщин.

— Я восхищен вашим искусством и вашей смелостью, — сказал он. — Хочу помочь вам и вашей школе. Что я могу для вас сделать?

Через несколько дней я и сорок моих детей танцевали среди апельсиновых деревьев на его вилле, на берегу Средиземного моря. Так начиналась эта сказка...

Всю зиму мы провели в Египте, катаясь по Нилу...

Когда дагоба — нильское судно — медленно плывет по течению, душа устремляется за тысячу, за пять тысяч лет назад, сквозь мглу прошлого к вратам вечности... Пурпуровый восход солнца, золотые пески пустыни, крестьянские женщины с глиняными сосудами на голове. И моя Дидра, танцующая на палубе. Увидев сфинкса, она воскликнула: «Мама, гляди, какая большая игрушка!».

Дагоба медленно двигалась под пение матросов. Неповторимые, сказочные ночи! Наше судно, казалось, раскачивал ритм эпох. Конечно, я была влюблена и счастлива. Однажды Лоэнгрин попросил меня почитать стихи. Я с радостью согласилась.

Ты, воздух, без тебя мне ни говорить, ни дышать!

Ты, свет, что окутал меня и все вещи нежным и ровным дождем!

Вы, торные кривые тропинки, бегущие рядом с дорогой!

Вы, тротуары, мощенные плитами!

Вы, крепкие каменные обочины улиц!

Вы, пароходики! Вы, доски и столбы пристаней!

Вы, суда в строительных лесах!

Вы, корабли...

— Прекрати! Что за вздор ты несешь?

Я увидела перед собой искаженное яростью красивое лицо Лоэнгрин.

— Кто мог написать эту галиматью?

— Это мой любимый Уитмен.

—Бродяга и бездельник, вот он кто.

Мелькнуло лицо Крэга. Океан. Волны, скалы, стихи...

—Ты для меня Уитмен танцующий, — говорил Крэг. — Ты и он — это ведь сама жизнь...

—Парис, дорогой, неужели ты не чувствуешь красоту его поэтических грёз?

—Нет. Я их презираю.

Да, так сказал мой Лоэнгрин. Нет, не Лоэнгрин, а Парис Юджин Зингер, миллионер, владелец десятков фабрик, на которых покорные рабы изо дня в день умножали его несметные богатства. Но... такова уж природа влюбленной женщины: я обо всем забывала в его объятиях, и дагоба плыла все дальше и дальше по голубому Нилу...

Летом он привез меня в Англию, в Девоншир, в загородное поместье Зингеров. Первые дни я покорно подчинялась размеренному, чисто английскому распорядку жизни миллионеров. Вставали рано — ох, какая мука! — обильно завтракали, потом надевали плащи и непременно шли гулять до ленча, во время которого съедали множество блюд. Потом фэйф-оклок, после чая бридж, затем подготовка к ужину, где в полном вечернем наряде надо было съесть еще пятнадцать или двадцать блюд. По истечении двух недель я была доведена до отчаяния.

Видя мое уныние и хандру, Зингер решил устроить вечеринку. Я обрадовалась. Чтобы доставить Лоэнгрину удовольствие, надела длинное белое шифоновое платье и бриллиантовое колье, которое он в этот день подарил мне. Все шло отлично, пока не начались танцы.

Музыка.

Я захотела станцевать танго с молодым аргентинцем, о котором говорили, что он самый известный танцор в Южной Америке. Мы танцевали свободно, раскованно, чувственно... Чопорные англичане с негодованием глядели на нас. Лоэнгрин нервно подергивал плечами — признак крайнего нетерпения и беспокойства. Едва мы закончили танец, он вышел на середину, схватил аргентинца за воротник и вышвырнул вон из зала.

—Ах, вот как! — Я вся тряслась от ярости. — Это шуточки богачей? Ты что, купил меня и можешь делать все, что хочешь?

С яростью я рванула колье, бриллианты посыпались на пол. Я опрометью, расталкивая гостей, выбежала из зала. Он бросился за мной.

—\Айседора! Остановись!

Нагнал меня в коридоре. Схватил за руки — огромный, как скала, шесть футов и шесть дюймов.

—Ты... понимаешь, что ты натворила?

—Нет! Потому что я другой крови, чем ты.

—Айседора, умоляю тебя -прекрати эти публичные скандалы. И еще... Если уйдешь от меня, я погибну. Все.

Он резко повернулся и ушел.

А через день мы стояли на палубе океанского судна, которое держало курс к берегам Америки.

Началось длиннущее турне по Штатам. Однажды какая-то дама бросила мне на сцену записку: «Дорогая мисс Дункан, ваша беременность видна из восьмого ряда. Вы рискуете здоровьем будущего ребенка».

А вскоре родился Патрик — вылитый Лоэнгрин, ни капельки не похожий на меня.

—Какой же он симпатичный, мамочка, — шептала Дидра, разглядывая его. — Я буду носить его на руках, пока он не научится ходить.

Я вспомнила эти слова, когда мертвая Дидра сжимала своего брата окоченевшими ручонками. Но тот черный день еще не настал. Я еще счастлива и окружена любовью. Лоэнгрин настаивает, чтобы мы поженились.

—Дорогой, я артистка. Неужели тебе не надоело сопровождать меня в бесконечных поездках?

—Ты для меня прежде всего любимая женщина. Я хочу видеть тебя не из театральной ложи, не в бинокль, а дома, в окружении наших детей, и чтобы каждый миг был наполнен радостью и светом.

Он еще не знал, что я уже подписала контракт на новые гастроли в России.

Любовь и Искусство... Две гордые птицы, распластав свои крылья, летят над моей жизнью, над моей судьбой. Соперницы в борьбе за мою душу, они ссорятся, визгливо кричат, клюют друг друга. То Любовь впивается в мое бедное сердце — и тогда прощай, Искусство. То властный зов Терпсихоры трагически обрывает пронзительный клич Любви...

В Москве, в мою гостиницу, неожиданно пришел Крэг.

Резкий аккорд. В музыке — тема Крэга, их первой встречи.

В течение одной короткой минуты, самой первой минуты нашей встречи, я была на грани того, чтобы поверить, что ничто для меня не имеет значения — ни школа, ни Лоэнгрин, ни все остальное, кроме бесконечного счастья видеть его вновь.

—Я большой дурак, который упустил свой мячик в реку.

Лицо Крэга казалось спокойным, лишь пальцы, постукивающие по набалдашнику трости, выражали крайнее нетерпение.

Он взглянул на меня, ожидая ответа.

Я молчала. Сердце безумно колотилось в груди. Он ждал.

—Нет, Крэг... Уходи, прошу тебя... Не надо.

Он хлопнул дверью и ушел. Больше я его никогда не видела.

11

Прошлое, настоящее и будущее похожи, вероятно, на бесконечно длинную дорогу. Мы не можем разглядеть, что там, впереди. Нам кажется, что будущее далеко, за горизонтом, а оно уже подстерегает нас.

Часто с балкона своего дома я любовалась Дидрой, глядя, как она слагает свои танцы.

—Мамочка, смотри, сейчас я птичка и лечу высоко-высоко под облаками... А сейчас я знаешь кто? Цветок, розочка... Она глядит на птичку и раскрывается...

Я видела в ней продолжение самой себя. Когда-то листья пальмы, дрожащие от утреннего ветерка, помогли мне создать один из первых танцев — и свет порхал по моим рукам, кистям и пальцам, будто лучи солнца, ласкавшие листья.

Патрик тоже начинал танцевать — под музыку, которую он придумывал сам. Он никогда не позволял мне учить себя: ведь тебя, мама, тоже никто не учил...

Тот день, самый черный в моей жизни... Накануне кто-то прислал мне книгу в роскошном переплете: «Ниобея, оплакивающая детей своих». Со смутной тревогой листала я страницы.

И вдруг перед глазами возникли слова: «Чтобы тебя покарать, стрелы богов пронзили головы преданных тебе детей». Что это значит? Предупреждение? Глупая шутка? Угроза?

Мои малышки... Во сто крат больше, чем мое искусство, в тысячу раз сильнее, чем любовь мужчины, они наполняли мою жизнь счастьем. Но эта книга... Кто и с какой целью прислал ее мне?

Внезапно зазвонил телефон. Я узнала голос Лоэнгрины:

—Айседора... Давай встретимся в городе. Мне так хочется повидать тебя и 'детей.

Я обрадовалась, ведь мы несколько дней были в ссоре. Он любит меня, он хочет видеть малышей! Да, да, я еду! Еду!

И тут няня сказала:

—Собирается дождь. Не лучше ли оставить деток дома?

Сколько раз, точно в ужасном кошмаре, я прокручивала в памяти эти слова предостережения. Почему я не придала им значения в тот миг, почему?

Лоэнгрин встретил нас на Плас Пигаль, мы весело позавтракали в итальянском ресторанчике: ели спагетти, пили кьянти, говорили о будущем.

— Я построю для тебя новый театр, — сказал Лоэнгрин. — Это будет театр Айседоры.

— Нет, возразила я. — Это будет театр Патрика. Он станет великим композитором, вот увидишь! Он создаст музыку для танцев будущего.

Мы посадили детей в автомобиль — им нужно было возвращаться домой. Дидра прижалась лицом к окну. Я в шутку поцеловала ее в губки через стекло. Оно было холодным, словно поцелуй Смерти...

Проводив детей, я поехала в студию. Пианиста еще не было. Надев белую тунику, я ходила по залу, ела конфеты и думала: «Я самая счастливая женщина в мире. Я молода, знаменита, у меня чудесные дети, любовь. Сегодня исполнилась мечта моей жизни. У меня будет театр, свой театр!»

И в эту минуту вбежал Лоэнгрин. Лицо его было искажено ужасом.

— Айседора! — крикнул он и задохнулся. — Наши дети!.. Они погибли...

Оборвалась струна, визжа и рыдая. Нарастая, звучит трагическая музыка.

Осознать, что произошло, невозможно — это не под силу разуму. Машина с детьми выехала на набережную Сены. Наперерез ей выскочило такси. Наш водитель круто свернул к реке. Мотор заглох. Шофер вышел, завел мотор и вдруг... Машина двинулась на него, он отскочил в сторону. Автомобиль с детьми с ходу упал в Сену... Пока шофер бегал зачем-то к моей сестре Элизабет, колотил там в дверь — ее не оказалось дома — время, время шло... Только через час машину подняли краном. Мне говорили потом, будто Дидра еще дышала...

Я не мистик, но в этой страшной истории много такого, что, если вдуматься, — сойдешь с ума... Еще до меня Лоэнгрин был увлечен женой профессора Дуайена. Лоэнгрин строил для него больницы, создавал рекламу. Когда он оставил эту женщину ради меня, Дуайен лишился финансовой поддержки. Можете представить себе, как он стал меня ненавидеть! Деньги, деньги, везде эти проклятушки деньги! То, что произошло, это его месть. И книга, присланная по почте, и то, что шофер, уйдя от меня, купил себе роскошную виллу за пятьдесят тысяч франков (цена моих детей!) — разве это случайность? Безумный мир, где все продается: человеческие чувства, искусство, сама жизнь...

Музыка.

Страшные предвестники моего горя задолго до этого дня возникали в моих снах. То я видела, как снежные сугробы превращались в маленькие гробики... То черные злоеющие птицы летали под потолком студии, пугая меня своими криками. Три сугроба, три черных птицы... Почему три? Только потом я поняла эти знаки судьбы...

Есть горе, которое убивает, хотя со стороны кажется, что человек продолжает свою жизнь. Я пыталась спастись бегством — от себя, от грызущих голову мыслей, от людей. Я носилась, как призрачный корабль по призрачному океану, меняя города и страны. Ночи я проводила без сна, ожидая утра. А днем, затворясь от людей, мечтала о наступлении ночи. Я заплывала далеко в море — так далеко, чтобы не хватило сил вернуться, но сила жизни всякий раз выталкивала меня на берег.

Как-то в серый осенний день, бродя по дюнам, я внезапно увидела впереди себя детей.

Моих малышей... Они шли, взявшись за руки.

— Дидра! Патрик! Не уходите! Это я! Я!

Как безумная, я бросилась за ними, но они побежали вперед.

Я кричала, звала — все напрасно. Через мгновение две маленькие фигурки растворились в прибрежном тумане. Страх овладел мной: неужели я схожу с ума? Бросилась навзничь, на сырой песок, и зарыдала.

Вдруг чья-то рука коснулась моих волос. Я вздрогнула. Передо мной на корточках сидел незнакомый смуглый парень в грубой крестьянской одежде.

—Вам плохо, синьора?

Я глядела на него безумными глазами.

—Может, вам помочь?

—Да, да, спаси меня. Не жизнь — я все равно умерла. Спаси мой рассудок... Да, да, голову мою. Подари мне ребенка, маленького ребеночка, бамбино... Ты понял?

Я схватила его за руки и легонько притянула к себе.

С того дня я его больше никогда не видела. Кто он? Откуда? Я даже не поинтересовалась, как его зовут. Для меня это не имело никакого значения! У меня снова будет ребенок! Мой малыш! Мой бамбино!

1 августа у меня начались схватки. «Война! Война!» — кричали под моими окнами продавцы газет. «Выстрел в Сараево!.. Кайзер Вильгельм предъявил ультиматум... Франция и Англия объявили о начале мобилизации...».

К вечеру на кровати рядом со мной лежал мой сын. Маленький, слабый, он непрерывно кричал и дергался. Через несколько часов судьба унесла его от меня. И снова все рухнуло в бездну. Теперь уже трое моих малышей брели по ту сторону жизни. Дидра, Патрик, Бамбино... Взявшись за ручки и улыбаясь невидящими глазами, они звали, звали меня к себе... Три снежных сугроба, три черные птицы... Три, три, три...

Своим спасением я обязана Элеоноре Дузе — великой актрисе и мудрой женщине. Я жила тогда на ее вилле. Однажды в сумерках она вошла в мою комнату. Обняла, тихо и властно сказала: «Айседора, вы должны вернуться к вашему искусству. Я вам приказываю — в этом ваше единственное спасение».

И наступил день, когда, преодолев себя, я уехала в Париж. Пришла в студию, вошла в большой танцевальный класс с голубыми занавесками. Стайка учениц окружила меня. Мои девочки, как я рада снова увидеть вас!..

Они не пытались утешить меня. Они просто сказали:

—Айседора, живи ради нас. Разве мы не твои дети?

12

В музыку вторгается фонограмма войны: грохот артиллерийских снарядов, разрывы бомб, треск пулеметных очередей.

В безумном мире бушевала война. В сводках сообщалось о тысячах убитых и раненых. Осенью 1914 года мою школу закрыли. В ее помещении был размещен военный госпиталь. Со стен сняли барельефы танцующих детей — вместо них во всех комнатах висели дешевые распятия. Не было и голубых занавесок в большом танцевальном зале :здесь тоже стояли койки с ранеными. Санитары, тяжело ступая по коридорам, вносили все новых и новых мучеников.

В 1915 году я подписала контракт и уехала в Америку. В Сан-Франциско, городе моего детства, я встретилась с мамой, которую уже не видела много-много лет. Безжалостное время превратило ее в тихую маленькую старушку. Однажды, во время завтрака, я увидела в зеркале наши отражения — мое печальное лицо, ее седину и морщины — и вспомнила тех отважных смельчаков, которые почти двадцать два года назад пустились в путь с надеждой обрести славу и богатство. Надежды исполнились — почему же результаты оказались столь трагическими? Может быть, так называемого счастья и вовсе не существует? Разве что мимолетные его просветы?..

Война, кровопролитие, удушливые газы — все это было там, в далекой Европе, за тысячи миль от Штатов. Нью-Йорк был охвачен горячкой джазбандов. Дельцы Чикаго и Детройта наживались на военных поставках. И вдруг — это было в 1917 году, я выступала тогда в «Метрополитен-опера» — пришла весть о революции в России.

В антракте я сказала дирижеру:

— Маэстро, мы изменяем программу. Я выйду на сцену в красной тунике. Пусть звучит «Марсельеза» — я дарю этот танец России.

13.

Прошло несколько лет. Мне так и не удалось возродить свою школу

—Дамы и господа, — взывала я к публике после каждого концерта. — Я обращаюсь к вам за помощью. Мое искусство умрет вместе со мной, если вы не поможете мне создать школу нового танца. Я надеюсь, господа, что вы услышите мой призыв.

Я направляла свои послания богачам-миллионерам, писала королю Англии, правительствам Франции и Германии. Но отовсюду приходили вежливые отказы: «Мы вас любим, дорогая Айседора, но поймите... война, инфляция... безработица... Мы будем иметь в виду... при первой же возможности...». И все в таком же духе, с неизменными восторгами по поводу моего искусства.

Отчаявшись, я написала в красную Москву. Ответа долгое время не было. И вдруг...

Стук телеграфного аппарата.

Голос по радио. Лондон. Айседоре Дункан. Советское правительство приглашает вас в Москву. Приезжайте. Мы создадим вашу школу.

Всего несколько слов, но они решили мою судьбу. Я стала готовиться к отъезду. Сердце ликовало. Да, я еду к вам, еду! Я буду обучать ваших детей, мы создадим академию революционных танцев.

Ах, как меня начали травить! Пугали, называли безумной...

—Дорогая Айседора, умоляем вас: не едьте в Россию!

—Неужели вы думаете, что комиссарам нужны ваши танцы?

—Вас изнасилуют пьяные матросы!

—Ради всего святого, откажитесь от этой безумной затеи!

—Нет, господа, нет! Я женщина рискованная. Чем страшнее, тем интереснее. Прощайте! Я еду танцевать в страну большевиков!

14

Бой кремлевских курантов.

Часовой Кремля, курносый парнишка в фуражке с красной звездой, долго и внимательно рассматривал мой пропуск, подписанный наркомом просвещения Луначарским. Затем наколол его на штык и взял под козырек. Я улыбнулась ему и вошла в Кремль...

Голос по радио. Председателю комиссии по снабжению рабочих при народном комиссариате продовольствия товарищу Халатову... Дорогой товарищ! Обращаюсь к вам по вопросу совершенно исключительному. Как вы знаете, мною приглашена была товарищ Дункан. Настроение ее очень хорошее и дружественное по отношению к нам, и она, безусловно, может быть нам полезна, но первым условием для ее полезной деятельности является питание... Вот почему я прошу установить для Дункан и ее ученицы два полных совнаркомовских пайка. Нарком по просвещению Луначарский.

—Спасибо, но мне ничего не нужно, — сказала я наркому. — Я готова есть хлеб и соль, только дайте мне тысячу мальчиков и девочек из самых бедных пролетарских семей. И я

сделаю вам из них грациозных людей, достойных новой эпохи... И ничего, что вы бедны, что вы голодны, мы все-таки будем танцевать!

Глаза Луначарского весело блеснули за стеклышками пенсне:

— Будем танцевать, товарищ Дункан. Непременно будем!

Товарищ Дункан... Непривычно и странно прозвучали для меня эти слова. Леди, мисс, синьора, фрау, мадам — как только ни обращались ко мне в разных странах. *Товарищ...* Так называли меня впервые.

В автомобиле наркома я ехала по улицам Москвы. Заколоченные витрины магазинов, люди в обносках и лохмотьях, чумазые ребятишки, изрытые ямами мостовые... Москва 1921 года. И вот в этой нищей, разоренной стране какая-то сумасбродная дама мечтает — ну как вам это понравится! — о каких-то фантастических танцах будущего! Это абсурд, Айседора! Ты просто сошла с ума!

На Воробьевых горах наша машина остановилась. Я указала рукой на обрывистый склон: — Вот здесь должен быть грандиозный театр без стен и крыши. Я уже вижу, господин... нет, нет... товарищ Подвойский, гирлянды девочек и мальчиков, которые танцуют перед тысячами зрителей.

Подвойский только улыбнулся:

— Милая Айседора, мы еще только рубим глыбы мрамора, а вы уже хотите обтачивать их тонким вашим резцом. Начните заниматься сперва с небольшими группами детей, а уж после этого откроем вашу школу.

15

Лирическая русская мелодия.

— Как тебя зовут, девочка? Давай познакомимся. Я — Айседора. А как твое имя? Таня? Какое красивое — Таня! Кто твой папа, Таня? Машинист? А мама? Прачка? А ты сама кем хочешь стать, когда вырастешь? Еще не знаешь? Ну, хорошо, скажи мне, Таня, ты любишь танцевать? Очень? Прекрасно! Послушай, как я произношу твое имя: Та-а-а-а-а-ня... Т-а-а-а-а-а-ня!.. Будто ветер подул, не правда ли? Та-а-а-а-ня... А ты березка в лесу. Ветер тронул твои зеленые листочки, и они заколыхались, заволновались... А ветер подул сильнее, на небе собрались тучи, вот-вот хлынет дождь. Маленькая березка дрожит от холода, она борется с жестоким, колючим ветром. А он пригибает березку к земле, хочет сломать. «Нет, ветер, ты не одолеешь меня, — упрямо твердит маленькая березка. — Я все равно буду жить на земле!». И ветер, выбившись из сил, затихает. Снова выходит доброе солнышко. Оно ласкает тебя, нашу маленькую березку, своими нежными, теплыми лучами... Ну вот... Ты мне все очень хорошо показала, Таня. Приходи ко мне завтра. Мы опять будем с тобой танцевать. Приходи. Айседора тебя ждет.

Шум зрительного зала.

Моих питомцев стали называть смешным словом «дунканята». Не забуду тот день, когда мы впервые выступали в Москве. Волновались все, а больше всех я. Ведь мы участвовали в праздничном концерте, посвященном четвертой годовщине революции.

Большой театр... Кумачевые полотнища на позолоченных ярусах, над бывшей царской ложей. В зале, как мне сказали, рабочие, солдаты, крестьяне. На самом же деле — только я узнала об этом позже — это были партийные функционеры, ответственные чиновники из наркоматов и прочая большевистская элита.

Вдруг — аплодисменты. Еще до начала концерта, в чем дело? Мы стоим в кулисах, ничего не понимая. Вижу Луначарского, он торопливо подходит ко мне. «Ленин пришел, Айседора, — шепчет он мне на ухо. — Держитесь!

Я танцевала, как никогда. Я превратилась в пламя радости, в пылающий факел, зовущий людей к свободе. Я и мои питомцы танцевали под пение всего зала. И вместе со всеми, как мне показалось, стоя в правительственной ложе, пел Ленин...
Мы выступали с концертами перед шахтерами Донбасса, перед моряками «Авроры», во многих больших и малых русских городах. А потом...

16

Яркий свет внезапно сменяется полумраком. Дрожит,
колеблется огонек свечи. Мужской голос:

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем глядит на звезду...

В тот вечер я была в гостях у художника Георгия Якулова. В его студии, как обычно, собрались известные московские артисты, музыканты, поэты.

Мужской голос.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок к сердцу желтеющий дол.
Отрок ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

И в душе, и в долине прохлада,
Синий сумрак, как стадо овец.
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец...

Кто читает эти стихи? Где он? Я хочу его видеть...
Якулов подвел ко мне человека в светлосером костюме.
— Это наш знаменитый поэт Сергей Есенин.

Легкий поклон.

— Айседора.

Из-под копны золотых волос на меня глядели голубые глаза моего Патрика. Я бросилась в эти глаза, как в сказочные озера, и они поглотили меня целиком!..

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад .
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат...

Где-то за садом несмело,
Там, где калина цветет,
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет...

Целый вечер он не отходил от меня и читал, читал свои необыкновенные стихи. Я ничего не понимала, ни единого словечка. Я слушала их, как музыку...

Будто лавина солнечного голубого снега обрушилась на нас двоих. Сбила с ног, закружила, понесла вниз — в зияющую неотвратимую пропасть... Я задыхалась от счастья, я забыла обо всем на свете, кроме тебя, Есенин! Безумие, бред, наваждение!..

Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.

Я искал в этой женщине счастье,
А нечаянно гибель нашел.

Я не знал, что любовь — зараза,
Я не знал, что любовь — чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.

Есенин! Это был спасительный круг, брошенный мне судьбой, моя лебединая песня.
Знал ли он, что между нами пятнадцать лет?

Перед бракосочетанием я отдала свой французский паспорт нашему общему другу.
— Умоляю вас, измените мой возраст. Мы не чувствуем этих пятнадцати лет. Но завтра...
завтра мы отдадим паспорта в чужие руки. Ему, может быть, это будет неприятно. Прошу
вас, не для меня — ради Есенина.

2 мая, в день регистрации нашего брака, я стала моложе на целых шесть лет! Нет, судьба,
мне было в тот день восемнадцать! Есенин привез меня в кафе поэтов «Стойло Пегаса». Мы
собрались в самой большой комнате, было много цветов, пили шампанское, смеялись.

Тосты следовали один за другим. Глаза Есенина сияли счастьем.

Но среди улыбок и приветствий я ловила на себе косые взгляды, слышала за спиной
неодобрительный, ехидный шепоток:

— Женился на ее славе и богатстве.

— У нее золотой дворец в Париже, слышали?

— И миллионы в швейцарских банках.

— Эх, Сергунька, пропала твоя головушка...

Ни золотого дворца, ни миллионов у меня, к сожалению, не было. Библиотека, мебель, все
мое имущество было расхищено, на счет в банке наложен арест. Но людская молва упорно
считала меня миллионершей.

Веселье в кафе поэтов продолжалось далеко за полночь.

Есенин влез на стол, вытянул вперед руку. Все смолкли.

— Други мои, черти полосатые! Сын у меня непременно будет, да такой, что и отца за
кушак заткнет!

И он стал читать стихи.

Я уже многое могла понять — ведь каждый день полтора часа я посвящала русскому языку.
«Красный карандаш лежит на парте», — произносила, тщательно артикулируя каждый
слог, моя учительница.

Крас-ни кэ-рэн-даш...

— Нет, нет, милая Айседора. Повторяйте за мной: «Красный карандаш лежит...». В
конце концов я взрывалась:

— К дьяволу этот красный карандаш! Миссис Ольга, научите меня, как сказать моему
красивому молодому мужу, что я хочу его поцеловать!

Одним из первых в мой лексикон вошло русское слово «почему». Оно было как ключик,
которым я пыталась открыть тайны этой непостижимой страны. Но вместо вразумительных
ответов мне лишь виновато улыбались и загадочно разводили руками.

Они не могли ничего ответить на мои дурацкие «почему».

Почему, например, из дома на Пречистенке, где поселили меня, нужно было безжалостно
выселить чуть ли не на улицу несколько бедных семей? Почему?

Почему до сих пор моя школа не имеет помещения, зато шестьдесят бездельников —
секретарей, уборщиц, машинисток, бухгалтеров, поваров — регулярно получают денежки
за работу в несуществующей школе. Почему?

Почему танец «Угнетенная рабыня», который я всегда танцевала на Западе под звуки
царского гимна, здесь был запрещен чекистами как пропаганда контрреволюции? Почему?

Таинственно улыбается, показывает пальцем вверх.

«Молчи!» — советовали мне друзья. Но однажды я не выдержала. Был какой-то революционный праздник. На официальный прием пригласили меня и Есенина. В бывшем особняке сахарного короля, в роскошной обстановке стиля «ампир» расположились партийные бонзы в вечерних нарядах. Лилось рекой шампанское, известная певица ублажала этих большевистских нуворишей оперными ариями.

—Что же изменилось в этом зале? — громко воскликнула я. — До вас здесь так же сидели те, кого вы прогнали. В тех же самых безвкусных креслах, на тех же роскошных диванах. Теперь вы упиваетесь своей властью. Вы... вы не революционеры! Вы просто новые буржуи!

Шум, переполох! Есенин хохотал:

—А ты, мать, хулиганка! Приехала, понимаешь, дама из Амстердама и учит наших братишек революционному духу. Молодчина! Поскребла их заскоруждые душонки! Я ведь тоже большой любитель скукотищу разметелить!

Мой выпад против партийных чинов явно был ему по душе, хотя ни в какие политические дискуссии он со мной не вступал. Только однажды услышала я от него то, что, видимо, было спрятано глубоко в душе.

—Понимаешь, Изадора... Они строят социализм стальных машин, а не живых людей. Не тот социализм, о котором я думал. Без славы и мечтаний. Тесно в нем будет живому... Случай был, помню: рядом с нашим поездом скакал маленький жеребенок. Так ему, сердечному, хотелось коня стального обогнать.

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?
А за ним
По большой траве,
В празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?
Мильй, мильй, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

Я рассмеялась.

—Ты чего?

—Дуралей-жеребенок — это я. Месяц как открыли школу, а уже проблемы: продуктов нет, дров нет, в классах холодно. А я, как пони, бегаю по кругу: то к одному начальнику, то к другому. А вчера Луначарский сказал такое страшное слово... Сейчас, забыла, длинное такое... Ага, са-мо-оку-паемость! Денег у правительства нет, зарабатывайте себе на жизнь сами. Устраивайте, мол, концерты, гастроли. А куда ехать, Есенин? Нищая страна, тупик! ...Слушай, а что если...

Стук телеграфного аппарата.

Голос по радио. Импресарио Юроку, Соединенные Штаты, Нью-Йорк. Можете ли организовать мои спектакли с участием моей ученицы Ирмы, двадцати восхитительных русских ленно. Айседора Дункан.

Пауза. Снова, потрескивая, стучит морзянка.

Голос по радио. Интересуюсь. Телеграфируйте условия и начало турне. Юрок.

Стали готовиться к отъезду. Вдруг — как гром среди голубого неба. Правительство Соединенных Штатов отказалось выдать визы ученикам моей школы. Неужели ты

испугалась русских детей, Америка? Моих «дунканят»? Нет, нет, Есенин, мы все равно поедим. Ты мой муж, пусть попробуют не дать тебе визу! Ты один заменишь древнегреческий хор. Слово поэта и танец создадут такое гармоническое зрелище... Клянусь, мы покорим весь мир!..

17

Первые концерты состоялись в Берлине. Репортеры окружили меня и Есенина.

— Да, господа, я почти год провела в красной Москве. Как видите, не умерла голодной смертью, даже чуть-чуть пополнела. Представьте себе, меня не изнасиловали на границе и не расстреляли. Вот так! Работают ли в Москве театры? (*Смеется*). Каждый день до сорока спектаклей. Мой великий друг Станиславский, глава Художественного театра, с аппетитом ест бобовую кашу вместе со всей семьей, но вы бы поглядели, что он творит на сцене! Шедевры, какие вам и не снились!.. Что? Не слышу вашего вопроса... Да, я приехала сюда со своим мужем — замечательным поэтом Сергеем Есениным. Правда, ваше германское правительство признало наш брак, совершенный по советским законам, недействительным. Ну, что же, мы повторили сегодня эту приятную процедуру. Я вышла за Есенина второй раз. Хотите, могу в третий, и в четвертый, сколько вам угодно! Есенин, это вопрос к тебе: самый счастливый год в твоей жизни? Он отвечает, господа: зима тысяча девятьсот девятнадцатого. В комнате пять градусов, дров ни полена, только писание стихов помогает согреться. Много стихов написал в ту зиму, потому и был счастлив... Что? Как он пишет стихи? Есенин, расскажи журналистам. Он говорит, господа: как присяду перед обедом на полчаса... (*Хохочет*). Так, говорит, и напишу стишка три-четыре! (*Меняя тон, залу — доверительно*). Мне он потом сказал: зачем им, дуракам, знать, что стихи писать, как землю пахать — семи потов мало!.. Ваш вопрос я не расслышала, повторите, пожалуйста. Что вчера произошло в Берлинском Доме искусств? А ничего особенного, господа! Нам просто захотелось спеть «Интернационал». Мы запели, зал подхватил. А какие-то подонки подняли шум, начали топтать, свистеть. А Есенин, я вам должна по секрету сказать, умеет свистеть почти :как этот самый... их национальный герой... как его?.. Как Соловей-разбойник! Это в России, господа, самый большой специалист по свисту. Есенин как заложил четыре пальца в рот да как свистанул! После этого тихо-тихо стало, и мы с ним спокойно допели «Интернационал».

Пауза. Перемена света.

В Берлине мы пробыли довольно долго: не давали визы для проезда через Францию. Мы нервничали... Появилось много новых друзей — искренних и лживых. Какие-то банкеты, встречи, обеды...

В один из дней мы побывали в гостях у Алексея Толстого. Был приглашен и Максим Горький. За столом Горький пристально разглядывал Есенина и неодобрительно, косо посматривал на меня. После обильного ужина я слегка захмелела и отяжелела. Попросили танцевать — скорее из вежливости, так показалось мне.

Я кружилась в тесной комнате, прижав к груди букет измятых увядших роз. Было очень неловко. После танца я подошла к Есенину, он положил мне руку на плечо и не сказал ни слова. «Неужели я танцевала так плохо?» — спросила я его взглядом. Он резко отвернулся. Стало горько и обидно до слез.

Вдруг он начал читать стихи. Тихо, словно самому себе.

Утром, в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых оценила сука,
Рыжих семерых щенят.
До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом,
А вечером, когда куры
Обсиживали шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклат в мешок.
По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь...

Я смотрела на Горького. В его глазах стояли слезы. Ты колдун, Есенин. Как легко и просто тебе удалось завоевать непостижимые души этих великих русских... Бедняжка Терпсихора, в этом заезде ты определенно проиграла!..

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

И снова потянулись тягостные дни ожидания. Поездки, концерты, приемы... Все это измучило Есенина. Я не отпускала его ни на шаг, он злился. В один прекрасный день он просто исчез из отеля. Обзвонила все больницы, морги. Есенин! Но его нигде не было... На четвертый день, объездив все кабаки и притоны, я ворвалась в тихий семейный пансион — кажется, на Уландштрассе. В одном из номеров, на смятой постели, сидел Есенин. Он что-то писал огрызком карандаша на папиросном коробке.

Не помню, что со мной было!.. Завыла, как раненая волчица. Схватила хлыст и в исступлении стала колотить посуду, зеркала, люстры. Летели на пол вазочки и тарелки, рушились полки с дорогими сервизами. Я бушевала до тех пор, пока бить стало нечего.

— Я заплачу за все, — сказала я насмерть перепуганной хозяйке. — Пришлите счет.

— Ты дьяволица, — прохрипел Есенин.

Надел цилиндр, набросил на плечи пальто и молча пошел за мной.

Что я натворила, безумная?.. Неужели не понять мне было, что душа поэта требует уединения? Почему небеса не вразумили меня, не удержали тогда мою руку? Не разбила ли я вместе с сервизами и зеркалами то, что было для меня дороже всего на свете?

18.

Наконец, визы были получены. На пароходе «Париж» мы пересекли Атлантический океан. В белой фетровой шляпе, в красных сапожках и длинном плаще я стояла на палубе под руку с Есениным, а впереди, на горизонте, окутанные свинцовым фабричным дымом, выросли серые громадины небоскребов.

В нью-йоркском порту чиновник долго вертел в руках наши документы и наконец изрек, что в Штаты он впустить нас не может. Ночь мы должны провести на пароходе, а утром нас

отправят на Эйлис - Айленд, «Остров слез», где находятся карантин и всякие следственные комиссии.

Наступило утро, и в сопровождении полицейских мы отправились на «Остров слез». Есенин взглянул на статую Свободы и расхохотался:

—Бедная старая девушка, почему ты такая неласковая?

Полицейские насторожились, но так и не поняли, почему мы смеялись.

На Эйлис-Айленде нас заставили пройти все круги ада.

—Мистер Есенин, — сказал толстый чиновник в комнате полицейских экзаменов. — Подойдите к столу. Поднимите правую руку и отвечайте на вопросы. В Бога верите?

Есенин с недоумением поглядел на меня. Я кивнула — мне хотелось побыстрее покончить с этой унижительной процедурой. Он сказал: «Да». И незаметно подмигнул мне.

—Какую признаете власть? — продолжал свой допрос чиновник.

Несчастный Есенин стал путанно объяснять, что он поэт и в политике ничего не смыслит, но вообще-то он за народную власть.

Задав еще несколько вопросов, чиновник сказал:

—Повторяйте за мной: «Именем господа нашего Иисуса Христа обещаю ни в каких политических делах не принимать участия и гимн «Интернационал» в общественных местах не петь».

И только после всего этого Америка открыла перед нами свои ворота. В отеле, где мы остановились, безжалостная судьба приготовила мне еще один страшный удар. Едва мы распаковали чемоданы, я вошла в ванную комнату. На стеклянной полочке лежало мыло. Обыкновенное туалетное мыло в яркой красочной обертке. Я взяла его в руки и вдруг... Я дико закричала, будто прикоснулась к раскаленному железу. С этикетки смотрел на меня белокурый смеющийся мальчик с голубыми глазами... Мой Патрик! Изверги, садисты! Кому в голову могла взбрести эта кощунственная затея?! «Покупайте ароматное и душистое мыло фирмы «Пирс и компания»! — эти рекламные плакаты с голубоглазым Патриком неотступно преследовали меня на улице, в метрополитене, в ярко освещенных витринах. Мыло! Мыло! Мыло! Как -будто дьяволу доставляло особое удовольствие издеваться надо мной...Лишь на сцене я забывала об этом.

Берет со стола несколько газет.

«Чикаго стар». Айседора бросает вызов Америке : каждый ее спектакль кончается «Интернационалом».

«Бостон ньюс». В партер театра, где выступала Айседора, введена конная полиция.

«Балтимор сан». Дункан и Есенин привезли секретные инструкции большевиков.

«Вашингтон пост». По заявлению Министерства юстиции, Айседора Дункан лишена американского гражданства за красную пропаганду. Ей и ее мужу Есенину предложено немедленно покинуть Соединенные Штаты.

Отбрасывает газеты, резко.

Господа! Мне хочется на прощание заявить журналистам следующее. Если бы я приехала в вашу страну как большой финансист, мне был бы оказан великолепный прием. Но я всего-навсего артистка. И поэтому меня отправили на «Остров слез», как обычно поступают с преступниками и всякими подозрительными лицами. Но я не анархист и не большевик. Мой муж и я являемся революционерами — в том смысле, как ими были все художники, заслуживающие этого высокого звания. Мы приехали сюда как посланцы великой страны, мы хотим, чтобы оба наших народа жили в мире и согласии... Вот за это, меня, американку,

изгоняют из моей же страны. Мы приехали к вам как парламентареры, а вы... вы, господа, захлопнули перед нами двери. Прощай, Америка, прощай навсегда!

19.

Париж. Мы возвращаемся в Россию. Есенин считает каждый день, торопит меня, злится.

— Я тебе в тягость, Есенин? Скажи...

— Да! Да! — вдруг злобно и отчужденно крикнул он. Будто выстрелил.

Я попыталась разрядить обстановку. Протянула ему свежий номер журнала с его портретом.

— Что здесь написано? Переведи.

«Сергей Есенин, русский поэт, муж известной танцовщицы Айседоры Дункан».

— Сволочи! — Он швырнул журнал в угол. — Я Есенин, а не твоя моська.

Он очень ревниво относился к своей славе.

— Ты просто танцовщица. Люди могут прийти на концерт и восхищаться тобой, даже плакать. Но ты умрешь — и никто о тебе не вспомнит. Несколько лет — и вся твоя великая слава пройдет... Рассеется, как пепел по ветру.

— Перестань, Есенин. Зачем ты дразнишь меня?

— А стихи будут жить вечно, — продолжал он с улыбкой. — Тем более такие как мои.

Мне стало обидно и горько.

— Я дарю людям красоту. А она не умирает.

— Фу-у-у! И нет ни тебя, ни твоей красоты! — смеялся он.

Мы поссорились — в очередной раз.

Целый день он, запершись, сидел в своей комнате, не вышел даже к обеду. Утром, чуть свет, куда-то ушел. На скомканной постели я заметила обрывок бумаги. Стихи... Они были написаны ночью. И посвящались не мне, а той, кого он любил сильнее всего — России.

Эта улица мне знакома
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась под окном...
Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом...

Я впервые тогда почувствовала различие наших судеб, ощутила сердцем тревожную близость неминуемого разрыва.

В Москве один из друзей Есенина сказал мне:

— Милая, дорогая Айседора, и надо же было вам повстречаться на его пути. Пойми-те, он женился на вашей славе. Ему, видимо, было лестно ходить по Петровке с вашим именем, появляться с вами в кафе поэтов и слышать за спиной завистливый шепот: «Есенин-Дункан... Дункан-Есенин»...

Нонсенс! Абсурд! Разве у него своей славы не было?

Мы долго не виделись. Вдруг однажды он пришел ко мне на Пречистенку.

— Скажи, Есенин, ты... ты любил меня? Только не лги. Ни себе, ни мне.

— Изадора, чертова дочь, дьяволица... Была страсть, а потом все прошло, сгорело... Слепой был, понимаешь? Разные мы, чужие... И стихи мои для тебя — тьфу, тарабарщина!..

— Замолчи, Есенин! Не смей! Не смей так говорить!.. О нет, не уходи, останься... умоляю тебя. Стэй, донт гоу! Ай имплоу ю! Ты... ты нужен мне, ты моя последняя надежда-да...

Все, что у меня осталось в этом мире... Ю а май ласт хоуп! Донт гоу! Аи лав ю, Есенин! И в ответ:

Излюбили тебя, измызгали —
Невтерпеж.
Что ж ты смотришь так
Синими брызгами
Иль в морду хошь?
Чем большее, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.
К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Дорогая, я плачу,
Прости... прости...

Призрачная синекрылая птица счастья, ты выпорхнула из моих рук. Теперь уже навсегда... навеки. Я должна уехать. Поеду в Париж, положу хризантемы на могилки детей... Через месяц, два снова вернусь в Россию. Время лечит, я забуду тебя, Есенин, забуду... Я должна забыть. Последний концерт в Москве, последний танец... И вдруг слышу из-за кулис: «Изадо-о-о-ора»! Он! Пришел проститься со мной! Есенин!..

Кто-то догадался дать занавес. Он бросился ко мне, стал целовать руки, плакал... Это было наше последнее свидание... Телеграмму о его смерти я получила уже в Париже.

Мужской голос.

Нет, нет, нет! Я совсем не хочу умереть!
Эти птицы напрасно над нами вьются.
Я хочу снова отроком, отряхая с осинника
медь,
Подставляя ладони, как белые скользкие
блюдца...
Яблоневым светом брызжется душа моя
белая,
В синее пламя ветер глаза раздул.
Ради Бога, научите меня,
Научите меня, и я что угодно сделаю,
Сделаю что угодно, чтобы звенеть в человечьем:
саду...

20

Актриса снимает с себя красный шарф.

— Через полтора с лишним года погибла и она. В Ницце ее отказались хоронить, так как среди бумаг Айседоры было найдено ее заявление о принятии советского гражданства. За несколько часов до смерти она дала свое последнее интервью:

«Вы спрашиваете, какой период моей жизни я считаю наиболее счастливым? Запишите, господа журналисты: Россия! Только Россия! Мои три года в России со всеми их страданиями стоили всего остального в моей жизни... Нет ничего невозможного в этой великой стране, куда я скоро поеду опять и где проведу остаток своей жизни».

Она ожидала гонорар от издательства — не было денег на билет в Москву. Перевод пришел слишком поздно.

А в школе-студии имени Айседоры Дункан, которая еще долгие годы показывала свое искусство в Советском Союзе и во многих странах мира, дети, узнав о смерти своей великой наставницы, танцевали в день ее похорон «Арию» Баха. Так хотела Айседора.

Музыка.

И казалось, среди девочек и мальчиков, среди ее «дунканят», в своей огненно-красной тунике танцует и сама Айседора, снова и снова рассказывая людям о своей прекрасной и трагической жизни...

Конец

